

Евгения Корешкова



Я - Волна. Зандхоф

Я - Волна

Евгения Корешкова
Я - Волна. Зандхоф

«Автор»

2026

Корешкова Е.

Я - Волна. Зандхоф / Е. Корешкова — «Автор», 2026 — (Я - Волна)

Вместе с частью жителей уничтоженной фашистами деревни Анну вывозят в Пруссию, в концлагерь у городка Зандхоф. У нее чужие документы, где возраст на два года моложе. Теперь ей нужно попытаться не просто выжить самой, но и остаться человеком в нечеловеческих условиях, где каждый день может оказаться последним. У Анны нет защиты, но есть добровольно взятая ответственность за обитателей детского блока. Почти открытое противостояние с надзирательницей Мартой. Кто выйдет победителем? Какова цена той победы?

Содержание

Глава	5
От Автора	6
Глава 1 Эшелон	7
Глава 2 Прибыли	13
Глава 3 Второй детский блок	21
Глава 4 Витёк и Казик.	26
Глава 5 Комендантская метка	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Я - Волна. Зандхоф

Глава

Светлой памяти моего дедушки
Беляева Александра Ивановича,
участника Великой Отечественной войны
и одного из героев описанных событий
посвящается эта книга.

От Автора

июль 1975 года
Горьковская область,
Воскресенский район
дорога с.Владимирское – д.Топан

С Победного сорок пятого прошло уже тридцать лет.

Пожилой ездовой сельпо, – были раньше такие базы товаров с гужевым транспортом, – везёт на лошади товары в магазин маленькой лесной деревеньки. Июль. Жарко. Дорога пустая, длинная. Тяжело груженная ящиками, коробками и мешками лошадь шла размеренным шагом. С ездовым на телеге – его двенадцатилетняя внучка. Ей, приехавшей в гости в деревню, хотелось покататься на лошадке, а деду надоело вечное дорожное одиночество. Ездовому откровенно скучно и молчать надоело. И они долго разговаривали о самом разном. Двое собеседников с разницей в возрасте полвека с месяцем. Разговор зашел о случайностях и неслучайностях в жизни. В памяти деда всплыла одна встреча на далекой уже войне. Почему он тогда проговорился, не знаю. О тех годах дед не рассказывал никогда, до самой смерти. Упорно молчал и злился, если настаивали. А в этот раз заговорил. Может быть потому, что поведал тогда он не только о себе?

Ту, совсем молоденькую, уставшую девушку в маскхалате звали Анна. Ее имя ездовой запомнил лишь потому, что как у тещи его оно было. Подвез несколько километров, и разошлись их военные пути. А через полтора года война их снова свела, хоть и не сразу узнали друг друга. И встречи те были такими, что дед, опомнившись, взял с внучки слово: чтоб никому! «Ни-ни! Нельзя об этом, не положено разглашать: И, не дай Бог, еще бабушка узнает, она ж меня...»

А потом его внучка выросла и стала писателем. Однажды в семейном альбоме нашла старую фотографию деда с лошадей. Он же всю жизнь с теми лошадьми работал: и до войны, и на войне, и после нее. Вспомнился вдруг тот давний летний рассказ, и дедова тайна, которую она хранила долгие годы... Расспросить бы подробнее, сегодняшним, взрослым уже умом, да некого теперь. А тогда мала была, глупа. Стало интересно: кто же она, юная девушка с той далекой войны, о которой дедовская память сохранила только имя? Спросим у нее самой.

Глава 1 Эшелон

*10-18 августа 1944 г
. Белоруссия- Пруссия
дер Селищи – г.Зандхоф*

На крыльце уже грохали сапоги, и немец-громила в дверях громко кричал:
– Раус! Раус! – то есть, выходи.

Тетя Марыся, с собранным вещмешком осела по перегородке на пол и тихо завывала.

Я высунула голову из-за кухонной занавески. – Герр офицер. Мы сейчас идем. Мы быстро. Только оденемся. И выйдем. «Ага, семь раз он офицер! И рядом не стоял. Но ему, гаду, было приятно, он даже опешил от звучания хорошего немецкого здесь, в дикой деревне»

Он не стал выгонять нас на улицу немедленно. а, стоя на пороге, дал мне еще одну драгоценную минуту. Я успела схватить со стола нож, обмотать его тряпкой и привязать к бедру с внутренней стороны. Надеюсь, что не порежусь. Я подхватила под руку тетю Марысю и цыкнула на прижавшегося к стене Михася, почему-то по-немецки:

– Шнель! – и добавила. – Тихо! Спокойно. Не боимся пока. Идём ровно. Не дёргаемся. И мы, все трое, под дулом автомата вышли на улицу.

Со всей деревни к комендатуре сгоняли народ. Исходя из того, что я знала о зондеркомандах и их методах, двойное кольцо автоматчиков пока не оставляло шансов на коллективный побег.

«Ладно, гады, значит позже, но все равно уйду...»

Один из карателей, кривоногий ротенфюрер, по-нашему ефрейтор, поднявшись на крыльцо, начал вещать на ломаном русском: – Ви все есть помогать партизан. Ви не есть гут. Сегодня и всегда ви будет помогать Дойчланд.

Народ в толпе начали тасовать. Мужчин, да какие они мужчины, старики в основном, женщин старше пятидесяти, детей до трех лет, а если волосом темненькие, то и тех, кто постарше тоже, отгоняли в одну сторону. Старших детей, женщин помоложе, девушек и подростков – в другую. Я крепко держала рыдающую тетю Марысю под руку. Михась поддерживал ее с другой стороны. Мне происходящее перед комендатурой не нравилось категорически. И, судя по обстановке, ничего хорошего это нам не предвещало. Я примерно понимала, что будет дальше, но ничего сделать не могла. Поэтому угрюмо молчала.

Нас начали грузить в крытые тентом машины. Набивать, как сельдей в бочку, чтоб только стоять могли. Одну, другую, третью машину. И еще две подъехали. Оставшихся людей начали загонять в комендатуру и заколачивать досками окна. Больше я ничего не успела увидеть, зажата в машине меж людьми. Снаружи продолжался крик, плач, немецкая ругань и редкие выстрелы.

Машины постояли еще некоторое время, потом в кузов начали залезать немцы с автоматами, оттесняя людей от заднего борта еще глубже. Я все тянула шею, стараясь увидеть, что творится снаружи. Когда машины натужно рыча моторами, тронулись и у околицы стали подниматься в горку, я посмотрела назад. Деревня горела. Огонь еще только начинал облизывать крепкие дома один за другим. Он еще только разгорался, но обязательно возьмет свое. Он порезвится сегодня здесь вволю. И не оставит на этом месте ничего живого. Никакой больше деревни Селищи. Никаких ее оставшихся жителей. Только уголь и пепел.

Нас выгрузили на железнодорожной станции. Вот узнать бы, не тут ли наши тот склад рванули? Но как узнаешь? Окружили охраной и погнали всех вдоль платформы туда, где стоял товарный состав. Два немца переговаривались меж собой, глядя в какие-то бумаги.

Я прислушалась, оттягивая платок с одного уха.

– Привезли меньше. Если пойдут пустые вагоны, получим взыскание. Смотри, цифра получается почти круглая. Тогда поделим по пятьдесят и два вагона по шестьдесят. – Но требовали грузить по восемьдесят.

– Скажем, что они в дороге перемерли, и мы уже сгрузили трупы. Лето же. Списки напишем. Акт на списание.

(Вот же прохиндеи!) Наш вагон был третьим. Михась, подгоняемый охранником, уже карабкался туда.

– Михась, угол быстро или к стене! – скомандовала ему я, оттертая людьми в сторону.

Наверное, человек десять пропустила. Тетя Марыся стояла за мной, я протянула ей сверху руку, подтягивая. Даже трапа какого, гады, не приспособили! Михась, умничка, догадался, занял место у той стенки, что была со стороны тепловоза. Углов нам уже не досталось, но и место у стены – это хорошо. Тетя Марыся оторопело стояла, вцепившись руками в вещмешок. И вид у нее был еще более испуганный, чем у Михася. Наверное потому, что она понимала, нас везут совсем не на отдых. А тем временем в дверях взвился пронзительный женский крик в два голоса, один из вагона, другой снаружи. – Доча, доченька! Пустите изверги! – женщина с растрепанными волосами рвалась из вагона наружу. Солдат с размаху ударил ее по голове прикладом. Крик захлебнулся на полуслове, а потом продолжился долгим, низким, утробным стоном. Приложили ее, видимо, качественно. Мне не было ничего видно за людскими спинами. Тяжелая дверь поехала, закрываясь, громко лязгнув запор. Всё. В вагоне сразу стало сумрачно. – Мама! Мамочка! – надрывно кричала девушка снаружи.

Я уже поняла. Дело было в количестве. Женщина оказалась пятидесятой, а ее дочь пятьдесят первой. Значит, ее уже в другой вагон. А что разлучают семью, фашистов несколько не волновало.

Вагон резко дернулся. Тетя Марыся чуть не упала, успев опереться рукой о стенку. – Садитесь, пока есть куда. – показала я ей на место рядом с собой. Она, отрешенная, села. Михась немедленно прижался к ней. Они обнялись. Материнская рука почти машинально гладила белесые вихры. Поезд набирал ход.

Я огляделась. Два узких окна под потолком заколочены досками снаружи. Ни нар, ничего. Голый пол и стены. И постепенно нарастающий общий гомон. Люди устраивались, как могли. Внизу мерно стучали на стыках колеса.

«Вот если бы партизаны подорвали пути, – наивно думала я, – лучше, сразу под тепловозом, тогда бы поезд встал в лесу, и можно было бы надеяться, что народные мстители откроют эти проклятые вагоны и всех выпустят. Ага! Надейся. Щас!»

Уже сколько часов едем и ничего. Надеяться на помощь снаружи бесполезно. Самой нужно что-то придумывать. Я тщательно обследовала стену за спиной. Потом пол. Доска к доске подогнана. А если попробовать ножом потихонечку с краю? Я сунула руку под подол, достала нож. Хлипковат, конечно. Но хоть какой, он у меня есть. Михась удивленно смотрел на нож в моих руках. Не ожидал, что пронесу? Проверяли ведь. И вещи смотрели, и самих охлопывали. Даже меня. Но довольно небрежно. Я видела, что у многих из вещей ножи повыкидывали. Ага! А у меня не нашли.

Я выбрала одну из досок и стала потихонечку ковырять ее с торца, чтоб добраться и освободить накрепко вбитые гвозди. По чуть-чуть, остороженько. Времени на это действие у меня, думаю, что много.

Поезд ехал и ехал, а я упорно ковыряла. На меня косились с любопытством. Один конец доски я успела отковырять до темноты. Жалко, никакого света нет. Хоть бы свечку какую. А

то мрак сплошной. Очень душный мрак, надо сказать. С сожалением пришлось прерваться до утра.

Я легла, поджав колени, больше никак. Места мало. Закрыла глаза. Темнота дышала, стонала, шепталась и плакала на разные голоса. И даже яростно, с визгливым надрывом, в том конце вагона ругалась эта душная темнота, потому что кто-то не смог дальше терпеть. Напрудил лужу там, где сидел, и она растеклась. Соседи, естественно, возмущались, грозя виновником самим эту лужу и затереть. М-да. Об этой проблеме я даже и не задумывалась пока. Наверное, нужно будет для этого дела лучше к дверям протиснуться. Там хоть из-под нее в стык дверной всё наружу вытечет. Ужас! Я пока терплю. Надолго ли? На утре, чуть забрезжило, я, решительно перешагивая через спящих людей, этот маневр осуществила, пожертвовав в качестве хоть какого, но барьера, ту тряпку, которой нож к ноге привязывала. Меня сначала отругали заковыристо и зло. Но потом поняли мою задумку, оценили и стали повторять. Когда наружу стекает, а не по всему полу, оно значительно лучше. И тут хочешь стесняйся, хочешь как иначе, но организм не уговоришь.

Поезд ехал на запад. Иногда он останавливался и стоял подолгу, но двери не открывали. Кстати, та женщина, которую ударили прикладом по голове, ночью умерла. И теперь она лежала с синим лицом, прямая и уже чуть вздувшаяся, рядом с дверью. Все надеялись, что при первой остановке труп заберут.

Я попросила женщину с девочкой лет пяти чуть подвинуться, чтоб освободить мне другой конец доски и продолжила ковырять. Сделала сбоку щель, чтоб руку просунуть. Эх, жаль ножик туповат! Попросила Михася, чтоб он с другого конца доски зацепился. Мы потянули вверх. Никак! Туго идет. Я решила помочь ножом. Втиснула лезвие в щель рядом с ладонью и нажала. Послышался короткий, негромкий хруст. Я похолодела, еще не веря своей беспросветной глупости. А потом приподняла руку с ножом. Так и есть. Лезвие отломилось по самую рукоятку. Подчистую. И мало того, клинок пролетел в щель вниз, куда-то на рельсы. Дура же! Вот дура-то! Я просунула в щель уже рукоять. Больше она ни на что не годилась. Поднажала. И мы с Михасем вывернули-таки эту проклятую доску. В щель подуло свежим воздухом, которого так не хватало в душном вагоне. Быстро мелькали внизу темные от пропитки шпалы.

– Вот сейчас мы эту доску просунем в щель и вторую вывернем, – поясняла я мальчишке. – А потом еще одну. И сбежим. Как только ночью поезд остановится, так и сбежим. Прямо через эту дыру. Можно, конечно и на ходу прыгать, но страшно. Я боюсь. Я просунула доску в нужном месте, как надо, чтоб рычаг получился, передала ее Михасю. – Ты давай, когда скажу, вот так нажмешь всем телом. А я с другого конца руками попробую. Понял?

– Понял! – азартно ответил вдохновленный перспективой Михась, держась за доску.

Я только успела отойти к своему концу и наклониться, цепляясь за следующую доску, как вагон так дернуло, что все, кто стоял, попадали. Я тоже резко ткнулась лбом в пол. Аж искры из глаз.

– Да чтоб их всех!

И только потом глянула на Михася. Он поднимался с пола бледный, глаза у него подозрительно блестели. И доски у него в руках не было.

– Где? – задала я глупейший вопрос.

– Упа-ала, – ответил мальчишка и заплакал, как маленький. Я когда падал, не удержал... – пытался выговорить он пляшущими губами.

– Да что ж оно, как не везет-то!

Я и сама была готова расплакаться, но все равно, как могла, утешала мальчишку. Мы честно попробовали подергать доску так, без рычага и отковырянных гвоздей. Даже с помощью женщин, что смогли уцепиться за край. Ничего не получалось.

– Эх! Такая идея хорошая была. А в такую щель не пролезешь. Совсем.

В горле стоял жесткий комок.

«Да зараза же! Что же теперь делать-то?»

– Люди! Есть у кого-нибудь нож? – громко спросила я.

Никто не отозвался. Я повторила вопрос. Опять тишина. Или, действительно, ножа не было ни у кого? Или не доверяли отдать свое богатство в чужие руки?

Я долго смотрела на пролетающие внизу шпалы.

– Эх! – а потом произнесла громко и отчетливо: – зато уборная шикарная получилась!

Я даже попыталась улыбнуться. Не вышло. Я прошла к своему месту, где села, опустив голову. Я не знала, как мне теперь без ножа вскрыть этот чертов пол и сбежать отсюда. Ничего пока не придумывалось. Тетя Марыся протянула мне четыре картошины.

– Нужно быстрее доедать, а то подкисать начинает.

– Угу, – грустно отозвалась я, принимая немудрёный обед.

Девочка лет пяти, сидящая с мамой неподалеку, я их недавно просила пересесть, когда пол выламывали, настойчиво теребила женщину за рукав ее суконной куртки. – Мам, мама! Я есть хочу. Я тоже картошки хочу.

Женщина, чуть не плача, гладила ее по голове:

– Потерпи, маленькая, потерпи. Нет у меня ничего. Вот приедем, и я тебя покормлю.

Вещей у них совсем не было. А значит, и еды тоже. Либо потеряли, либо и вовсе ничего взять не успели. Я еще немного посмотрела на несчастного ребенка, и в одной руке показала ей две картошины, а другой поманила к себе. Она подскочила, радостная сразу сделалась, выхватила у меня эту несчастную картошку и вновь уселась под бок к матери. Я кое-как проглотила свою порцию, дополнительно макая смоченный слюной палец в соль, а потом облизывая его. Картошка действительно, начинала склизнуть под шкуркой, так и не успев провариться в середине. Но хоть что-то.

Я горестно ткнулась лбом в колени. Мне было плохо. Отчаяние навалилось такое, что хоть вой в голос. Да только кто поможет? Вот так по-идиотски попасться! И не убежишь теперь. Щель в полу слишком узка.

Женщины при помощи ленточек из кос и поясов от платьев сделали веревку, на которую повесили чью-то полосатую простыню, отгораживая место нашей новой общественной уборной от всего вагона. Так было комфортней, и в этом была моя заслуга. Единственное утешение. Но, чем дольше я сидела и думала о том, какая я несчастная, тем хуже мне становилось. Хоть стреляйся, хоть вешайся. Ни то, ни другое недоступно. Воду мы всю допили еще утром. Картошка, и та кончилась. Двое суток уже везут. Дышать нечем. Духотища.

Умерли еще две женщины. Их трупы сложили туда же, к первому, который так и не убрали. И оттуда всю несло мертвечиной. Весело! Состояние беспомощности и обреченности всё сгущалось вокруг, облепляло давило, гнуло. А колеса настойчиво выстукивали снизу:

– Совсем конец. Совсем конец. Совсем конец.

Дело шло к вечеру, когда поезд, в очередной раз остановился. Большая станция. Я, приложив ухо к стенке вагона, прислушивалась. Слышно, что говорят, но слова разобрать невозможно. Вдруг дверь вагона поехала в сторону. Приехали? Нет, на край дверного проема поставили два ведра воды и скомандовали:

– Быстрее!

Около ведер сразу образовалась давка. Я схватила наши две кружки, сунула их в руки Михасю.

– Низом давай, меж ногами.

Он понял, нырнул, извиваясь ужом проскользнул, и успел, зачерпнул обе кружки и выбрался, не разлив.

– Пей быстро половину, – протянула я ему одну, вторую схватила сама, и, торопясь, в несколько крупных глотков, почти давясь, тоже проглотила половину. Потом перелила к себе, что осталось у Михася и послала его с пустой кружкой еще раз. Кружки были не у всех, поэтому люди пили с ладошек. Толкались, ругались, расплескивали драгоценную воду. На сей раз кружка была наполнена на две трети. И то ладно. Пустые ведра забрали. Дверь закрыли. А трупы убирать так и не стали. Сказали, что они нужны для общего количества. Поезд постоял еще с минуту и тронулся дальше. И не поймешь, где и едем-то. Я долила мальчишке его кружку до верху.

– Мать напои.

Я глотнула еще раза три и понесла воду той женщине с девочкой. Они к дверям не протолкались, не сумели. Причем, протянула кружку сначала женщине:

– Пей.

– Дочке надо.

– Пей, дура, сама половину. Сдохнешь, кому твой ребенок нужен будет?

Она взглянула на меня испуганно, но видимо поняла и быстро припала к воде. Уж, не знаю, сколько она выпила сама, сколько оставила девочке, ее дело. Но вскоре она, с благодарностями, вернула пустую посуду.

Я снова уткнулась лбом в колени.

«Да что ж тошно-то как! И ничего сделать не могу. Вот не было бы в теле костей, да я б в ту щель водою просочилась, и на свободу!»

Плотный, почти осязаемый кокон отчаяния обволакивал меня. Я не знала, что делать. Тетя Марыся, прижала нас с Михасем к себе, но от этого мне стало еще хуже. Потому что так себя было жалче. Нас выжили с нашего места с этим импровизированным туалетом, и теперь мы переместились на место одной из умерших, к стенке с дверью. Михась подсуетился, молодец! Я сейчас ничего не соображала от саможаления.

Ночь прошла ужасно. Очень хотелось есть. А еще пить, а еще дышать чистым воздухом. Но больше всего хотелось на свободу. Никогда больше не пойду в зоопарк! Теперь я этих зверей, запертых в клетках, очень даже понимала.

На рассвете я определенно решила, что еще немного, и я задохнусь. Реально задохнусь. Я так и сидела, уткнувшись лбом в колени и плакала, когда почувствовала, что меня теребят за рукав.

– Теть, а теть, ты плачешь, да? – рядом со мной стояла та девочка. Маленькая, голубоглазая, с тонкими русыми косичками, завязанными бубликами, в синем фланелевом платишке. Мать ее, видимо, еще спала.

– А у тебя еще картошка есть?

– Нет, маленькая. Нет еды.

– А водичка? – И водички нет.

– Эх! – совсем по-взрослому вздохнула малышка.

– Вот, если бы у меня была кукла, я бы дала ее тебе ненадолго поиграть. И ты бы не стала плакать. Ты любишь играть в куклы?

– Когда-то давно любила.

– А в другие игрушки играешь?

– В другие игрушки играю. – Я вспомнила свою рацию. Как я ее берегла! Где она теперь? А девочка, словно услышав мое последнее слово, грустно произнесла:

– Мама сказала, что мы умрем.

– Нет, твоя мама ошиблась. Мы не умрем еще долго. Вот скоро приедем, и будет солнышко и небо, и травка...

Пока я уговаривала чужого ребенка, вдруг почувствовала, что тиски отчаяния значительно ослабли.

«Ну, уж нет! Подышать я еще не собираюсь. Если нет воды и хлеба, то хоть бы воздуха немного!»

Я поднялась и стала обследовать стенку за своей спиной на уровне глаз, ища хоть какую трещину в досках. Нашла на одной с краю. Ага! Есть куда зацепиться. Я попросила у тети Марыси ложку и стала ковырять доску. Выходило откровенно плохо. Ложка была алюминиевая и больше гладила дерево, чем ковыряла. Обидно!

Тогда я повернулась лицом вглубь вагона и произнесла громко и четко.

– Люди! У кого есть нож или хотя бы ложка стальная? Дайте мне, пожалуйста. Мне нужно проковырять щель для вентиляции, чтобы мы все здесь, нафиг, не задохнулись! – И повторила, напирая голосом! – У кого что есть? Не жмотьтесь. Для всех же.

Я обвела глазами вагон. Люди молчали.

– Жаль, – угрюмо сказала я им и отвернулась к стене, продолжая упорно ковырять неподдающуюся доску. – Ну и леший с вами, со жмотами!

Ругалась я зря. Минут через пять моего плеча коснулась рука. Я обернулась. Мне протягивали маленькие маникюрные ножнички. К вечеру я проковыряла хорошую щель, через которую явственно потянуло свежим, опьяняющим воздухом. Я передала ножницы назад. Надо же! Я их даже не сломала!

Теперь можно было не только дышать, но и выглядывать, пытаясь прочесть названия станций, мимо которых нас везли. Я немного надышалась и уступила щель тете Марысе, а потом Михасю. К моей щели образовалась даже очередь. Еще раз приносили воду. Мы опять урвали три полных кружки и залили эту воду в себя, как на каменку раскаленную выплеснули. И я опять выделила немного девочке. Мы были живы. Мы урывками насыщались ночным воздухом возле щели. А поезд все ехал и ехал.

Глава 2 Прибыли

18 августа 1944г
Пруссия
окрестности г. Зандхоф

Моя очередь стоять возле щели. Я хватала приоткрытыми сухими губами струйки свежего воздуха и смотрела на проплывающие назад большие и маленькие аккуратные домики с непривычно крутыми черепичными скатами крыш. Еще один чужой городок. Сколько их, таких, уже осталось позади?

Поезд в очередной раз сбавил ход и потащился очень медленно. Въехали на станцию. Вслух, громко, чтоб для всех, хрипло прочитала надпись на здании вокзала – Зандхоф. Произносится как лязг. А название простое – Песчаный двор. Вокзал остался позади. Поезд проехал всю станцию и остановился. Я уступила щель еще одной женщине и протиснулась к своим в душную глубину вагона.

Сколько на сей раз будем стоять? Когда и куда тронемся дальше? Я пыталась вспомнить название станции и сопоставить его со своими знаниями географии. Ничего из этого не получилось. Сама виновата, идиотка. Нужно было в свое время не только столицы других государств наизусть учить.

Снаружи нарастал шум: команды, иногда крики. То там, то тут взвивался, резко обрываясь, женский плач. Слышался лай собак. Похоже на разгрузку. А наш вагон все еще стоял закрытым. Или здесь выгрузят не всех, а нас повезут дальше? Куда еще дальше-то? Или, наоборот, догружают? Нет, вот и наша дверь с шумом и скрежетом сдвинулась в сторону на всю ширину. Приехали.

Двое мужчин в штатской одежде, явно с чужого плеча, и нелепых полосатых шапчонках, подтащили узкий, в три доски трап. Солдат с винтовкой стоял справа, командуя:

– Раус, раус!

Кто слов не поймет, по жестам и общему движению сообразит. Наверное.

Михась, как всегда любопытный, сразу переспросил меня: – Чего они там? – Выходить велют.

Я обернулась через плечо и ответила нарочно громко, чтоб не только он услышал.

Как только я оказалась на перроне, меня сразу направили вправо. Свежий воздух после душного смрада вагона – как сама жизнь.

Не успела я, очумевшая от вагонной духоты, отдышаться и опомниться, как толпа, подгоняемая охраной, быстро оттеснила меня от своих. Разделила так, что я не понимала, куда нужно двигаться, чтоб опять оказаться вместе.

Людей, сразу, на месте, пока из каждого вагона отдельно, сбивали в колонну по четверо в ряд. Я приподнялась на цыпочки, ища своих. Вроде бы даже увидела мелькнувший впереди синий клетчатый платок тети Марыси. Попыталась стороной, мимо колонны, пробиться к ним, но сразу же, получила очень чувствительный удар резиновым шлангом по спине. Да чтоб вас! Хорошо еще, через ватник. А второй раз, хоть вскользь, но по голове – аж присела, ошеломленная. Третьего раза дожидаться не стала – втиснулась в колонну. Третьей в ряд, не пытаюсь больше искать. Отдышаться бы от звона в ушах и неожиданной, обидной боли. Быстро мне объяснили, гады!

Молодой, высокий мужчина, один их тех, что трап таскал, быстро пошел вдоль колонны. Я теперь разглядела, что у него слева на груди был нашит красный треугольник вершиной вниз

и тканевая полоска с цифрами над ним, пересчитал прибывших по головам. Затем вскинулся по стойке «смирно» перед крайним справа эсэсовцем. Доложил.

Фашист сверился со списком, остался недоволен, послал того же мужчину в вагон. Тот сорвался с места. Я была стиснута со всех сторон испуганными людьми: ни оглянуться, ни по сторонам посмотреть. Зато было слышно, как мужчина что-то крикнул из дверей вагона. К нему послали еще одного. Они вытащили наших покойников, сложили справа от строя. Потревоженные, вздущиеся тела завоняли еще сильнее, да еще ветерок с той стороны. Судя по звукам, сразу несколько человек потянуло на рвоту. Но с голоду и на сухую вывернуть из себя было нечего, и они лишь напрасно драли горло сухими спазмами. За что тут же и получили.

Единственное, что можно счесть за хорошее, я действительно понимала все разговоры. Мозг сам переключился с русского на немецкий. Спасибо тебе, Фирочка!

Приказали повернуться направо и двигаться. Тех, кому не посчастливилось стоять крайними справа, заставили нести трупы. Дабы количество совпадало. Громкая, резкая команда: – Голову вниз. По сторонам не смотреть!

И никто не утруждал себя переводом. Кроме меня. Я немедленно дублировала вслух команды, чтоб испуганным людям было легче. Чтоб хотя бы понимали, что происходит.

Куда-то погнали плотной колонной. Мы топали уже минут пятнадцать, не меньше. Приглушенный гул толпы, шарканье подошв. Те же команды пошевеливаться. Хриплый лай здоровенной овчарки слева, совсем рядом. Визгливое тьяканье справа, ту собаку мне не видно. Изредка слышны вскрики, одиночные выстрелы или короткая автоматная очередь. Страшно и непонятно. Страх, он здесь какой-то материальный, осязаемый уже не разумом, а всей кожей. Очень заразный страх. Все вокруг боялись, и я уже боялась. Идиотское, трудно контролируемое состояние.

Справа потянулись частые, серые железобетонные столбы со скрюченным металлическим штырем сверху и колючей проволокой на них. Много рядов. Сколько? Восемь? Девять? Больше? А потом еще и вертикально пропущена. Промежуток метра два, и еще один ряд таких же столбов. Надежно огородились. Память рефлексивно, уже автоматом, как учили, выхватывала, фиксируя все детали. Колонна двигалась теперь уже вдоль этой проволоки. За ней, в глубине, виднелись ровные ряды длинных, однотипных строений. А потом мы дошли до глухих двустворчатых ворот. Ворота тяжелые, с красивой оковкой ромбами. Две башенки по бокам от них – широкие, тяжелые, этажа на два, остекленные поверху, словно поясом блестящим охваченные. Изящным завершением остекления – четырехскатная зеленая кровля на каждой башенке. Над ней деревянная корона и тонкий шпиль с фашистским флагом. Башни почему-то черным крашеные. Будто бы замершие шахматные ладьи. Красиво и жутко.

Когда начало колонна почти вплотную к воротам, навстречу выехал черный всадник на вороном коне. Он что-то сказав, указал рукой влево. Красиво сидит, гад! Спина ровная, взгляд сверху вниз. Кто он, такой властный?

Нас прогнали мимо ворот чуть дальше, остановили и начали сбивать в кучу, нарушая ряды. Я ничего не понимала. Стоя между чужих женщин, все равно упрямо тянула шею, стараясь высмотреть знакомый платок тети Марыси. И опять не находила.

Разведчикам не положено бояться. А мне было и муторно, и страшно. Или, если не в форме и давно одна, уже вовсе штатской считаюсь? Вот как это может быть? Скажите, как? Одиночество в толпе. Шумно дышащей, всхлипывающей тонкими детскими голосами, шуршащей тихими, успокаивающими шепотками их матерей. Почему остановили? Чего ждут? Непонятно. Жутко.

Если такая толпа, то это вагонов шесть или семь. Или больше? Но когда наша колонна тронулась от состава, там разгрузка еще шла. Их отдельно строили, людей из задних вагонов, которые прицепили к поезду уже потом, наверное, в Польше.

Мы стояли, ожидая непонятно чего. И вдруг громкая, быстрая, почти пронзительная команда: я ее слышала, понимала, но не могла вникнуть: «С какого перепуга? Зачем?»

Но, подчиняясь, быстро присела на корточки, лицом к воротам, жестами показывая соседкам и одновременно громко переводя:

– Садитесь, садитесь. Быстрей!

Переводом фашисты опять не заморочились. Сперва стали лупить налево и направо стоящих с краев, потом просто дали очередь из автомата поперек голов. Толпа взвизгнула, как один человек, и шархнула, почти сминая тех, кто присел первым. Меня тоже чуть сшибли. Люди стали быстро садиться.

Поскольку все отхлынули, я оказалась почти у края. Во втором ряду от дороги. Да какие здесь ряды! Единая, испуганно дышащая толпа. Опять непонятно: зачем?

Высокий плечистый ээсовец, потрясая хлыстом, рассмеялся:

– Мой самый лучший переводчик.

Судя по солнцу, уже давно перевалило за полдень. Часа четыре времени, как минимум. Или больше?

От станции, к воротам, подгоняемая охраной, быстрой трусцой двигалась еще одна колонна. Хриплое надрывное дыхание, прикрываемые руками головы бегущих людей. Многие с узлами, чемоданами и саквояжами. Девочка с темными кудряшками, лет семи всего, в крайнем от меня ряду, увлекаемая вперед мамой, тащила приличных размеров плюшевого медведя.

В нашем вагоне чемоданов не было ни у кого. Кое у кого имелись вещмешки, но и те из вагона забрать не дали. Вот гады! Кому-то разрешили вещи взять, а нам – нет. А эта новая партия семенила с поклажей: и мужчины, и женщины и дети. На их одежде, (на груди и спине) нашиты желтые шестиконечные звезды у кого ярче, у кого бледнее. Или два желтых же треугольника друг на друге. Один вверх вершиной, другой вниз. Евреи. Жиды. Юде. Сразу так много! Одни евреи.

Добежали, по приказу остановились. Их строили, равняя ряды. Задние, отстающие, чуть тащились, спотыкаясь и хромая, осыпаемые непрекращающимися ударами охранников. Встали, еле дыша. Я смотрела на польских евреев из-за плеча полной, жалобно охающей женщины.

– Сколько же их там? – начала считать, чтоб хоть примерно... Вбитая привычка фиксации увиденного! – Если пять рядов вглубь, то... семьдесят два в первом ряду... и помножить... Это три вагона или четыре?

Тот же всадник в ээсовском щегольском офицерском мундире медленно ехал вдоль их неровного ряда и, указывая концом тонкого конского хлыстика на каждого стоявшего, командовал негромко: “Линкс, рехтс”, – и тем же хлыстиком влево-вправо указывал. Охранники немедленно отгоняли людей в указанном направлении. Потом следующий ряд. И следующий.

Я смотрела. И многие наши смотрели.

Тех, кто отошел вправо, оказалось больше: все тащившиеся сзади, пожилые, женщины и дети. Их погнали сквозь ворота в лагерь. Налево оказались мужчины, преимущественно молодые. Они прошли чуть позже. Ворота закрылись.

А мы всё сидели. Ноги устали, затекли, и я плюхнулась на землю, благо она сухая. Вот как азиаты часами могут сидеть на корточках в такой сральной позе? Им это ничего. А мы ещё смеялись в свое время над ними.

Сидела, свесив голову. Внимательно смотрела, как змеится узенькая трещинка в земле, затоптанной, с жалкими сухими травинками. Пить хотелось жутко. И есть. Но пить больше. Дадут ли? Наверное, дадут. Иначе, зачем тогда так далеко везли? Чтоб уморить жаждой? Но

в вагонах уже морили. Могли бы и на месте убить. Да и в деревне тогда тоже сортировали. И здесь этих евреев. И нас, наверное, потом. Потом – это когда?

Сидели так до быстро навалившихся сумерек. Потом людей начинали поднимать криками и ударами. Загнали на территорию лагеря на большую площадку, сразу за воротами слева, дополнительно обнесенную колючей проволокой в один ряд. Столбы здесь врыты втрое реже, чем у наружной ограды. Опять заставили сесть.

Там и ночевали. Благо, совсем плотно не сгоняли – можно было лечь. Я смотрела в черное безлунное ночное небо и тихо плакала от отчаяния. Найти своих, хоть как, не смогла. Чуть пошевелишься – окрик. Было слышно, что и стреляли по людям. Нет, мне этого не надо. Поэтому прекратила тщетные попытки. Пить не дали. Есть не дали. И скоро совсем убьют. Бесславно так, глупо. И ничего не сделаешь. Наши про меня не узнают. И никто не узнает. Скупые слезы скользили по щекам, противно щекоча в ушах, и горькой сыростью копились в носу, скатываясь в горло.

Временами звезды закрывало налетающим дымом из высоченной каменной трубы и густо пахло жареным мясом. И еще чем-то горелым.

«Во, повара-идиоты, ужин прозевали!»

Кто-то взрослый сзади в ужасе выдохнул: – Крематорий. – То есть? Это не ужин? Совсем не ужин? Это жгут трупы? Людей? Ну, я и дура! Мамочка! Куда нас привезли?!

И никому дела нет, как страшно мне. Всем бы только до себя. Максимум внимания на своих детишек. А я не ребенок. Значит – сама. Одна. Нет, надо же было так влипнуть! Ждали отмашку из отряда, когда можно будет покинуть деревню. Алесь ушел за ответом. Мы ждали его и проводника. А дождались карательный отряд.

Слепящие лучи прожекторов шарили туда-сюда над площадкой. И медленно тянулась бесконечная жуткая ночь.

Вот Алесь придет из отряда... А никого нет. И деревни нет. Совсем.

Безысходная ночь. Вот если бы можно было выскользнуть отсюда, хоть как! Уползти, убежать, улететь. Где предел отчаянию? Страшно ощущать собственную полную беспомощность. И свою ненужность. Никому! Ни единому человеку вокруг!

Устав давиться слезами, повернулась набок, сжалась в комочек. Хорошо, что успели взять ватники. А то уже похолодало. И упал, разом накрывая, беспокойный сон.

Утро началось с командных выкриков, ругани и звуков ударов. Всех подняли и, перестраивая в колонну по одному, начали загонять в двери каменного приземистого здания.

Я впервые увидела женщин-эсэсовок в форме. Серо-зеленая. Или как этот цвет правильно назвать? Цвет жабы? Если снизу вверх смотреть, то эти арийки затянуты ремнем в рюмочку. Выше груди, имеющейся или отсутствующей, торчали почти острые, тщательно отутюженные концы отложного воротника кителя. Гладко забранные волосы под пилоткой. И глаза. Это самое страшное – их глаза. Ледяные, равнодушные, презирующие. Короткие хлысты или плети (у кого как) в их руках и пистолеты на поясе в расстегнутой кобуре. Брезгливо кривящиеся носы.

Да, запах от людей после вагонов еще тот, далеко не французскими духами несет.

Здесь что-то вроде канцелярии, потому что всех ставили в несколько очередей, начиная допрашивать возле стола на ломаном русском: имя, фамилию, возраст, откуда. Документы требовали и отбирали. Заставляли ткнуть указательным пальцем в мастику и поставить отпечаток пальца на карточке учета. Матери говорили данные на детей. Статистика, чтоб ее.

Тут же, у стола, младшим ребятишкам, примерно лет до семи, надевали на шею прямоугольный бирки с номером, затягивая узел под горлом. Чтоб не сняли, не потеряли.

Мне, как и всем остальным, пятизначный номер крупно написали химическим карандашом на руке, сразу от левого запястья.

И опять начали тасовать. А детей много оказывается, больше сотни точно. Крики, плач, ругань... Жуткие сцены, когда детишек отрывали от матерей. Лупили в кровь, почти непрерывно. Как только не уставала у них рука?

Громко плачущие младшие дети остались позади. Их нескоро успокоят. Или как?

Детей от двенадцати лет и старше (до пятнадцати или до шестнадцати, я не поняла) – отдельной группой. Все испуганные, многие тихо плакали. Громко плакать уже боялись. И я боялась. Что будет? Что?

Нас осталось человек тридцать.

И Михась среди них. Живой! Мы пробились друг к другу, встали рядом, держась за руки. Хоть одно знакомое лицо! Нет, не одно. Еще две девочки вместе держались, лет тринадцати-четырнадцати. Через дом друг от друга жили, как и от Полищуков. Жили.

Меня цепко схватили за воротник ватника. Рванули в сторону, разглядывая с сомнением. Задумчивый взгляд бесцветных глаз сизоного фашиста, от которого терпко разило потом.

– Вифель яре альт?

Возрастом моим, гад, интересуется. И сомневается.

Ну, да. Мой взгляд, наверное, меня выдает. А внешне я мелкая. И по метрике, аусвайсу по-ихнему, мне да, пятнадцать еще. Шестнадцать будто бы только в декабре исполнится. Этим документом я и прикрывалась. Так ему и сказала. Быстро, по-немецки. И добавила:

– Аусвайс (документ немецкий, липовый, которого у меня уже и нет).

– Гут, – согласился он и тычком в спину, вернул меня опять к детям.

Что будет? Что? Это сколько же нужно было народа прогнать через это здание, чтобы всё слилось в один стремительный, до малейшего действия четко выверенный поток? Ежедневный поток.

Я стояла, прислонившись лбом и ладонями к шершавой серой краске стены, обреченно опустив плечи, напуганная, смятая, уничтоженная уже, хоть и дышащая еще. Но глаза мои были сухими. Даже на слезы меня уже не хватало. Плачет живой, чувствующий человек.

Когда мне стало всё равно? Когда перед всеми раздеться догола заставили? После короткого унижительного медосмотра? Когда на руке ближе к локтю накололи пятизначный номер?

По живой, мгновенно краснеющей ареолом вокруг чернильных вкраплений и кое-где сочащейся алыми капельками коже! До чего же больно было! Но просидела, не дергаясь. Как он мне сказал?

– Дас ист дайне имя. Ты теперь – номер девяносто шесть, триста пятьдесят три. Запомни и выучи.

Ладно, я его понимала. И понятно кивнула в ответ. А остальным как это объясняли? Хлыстом и тычками? Тот, временный, чернильный номер смывается. Этот – никогда, до самого конца.

Наверное, обреченное равнодушие навалилось, когда над ухом размеренно и щипуче хрумкала хромированная машинка и мои волосы легкими прощальными касаниями падали на плечи и колени. Голове стало холодно и бездумно. Словно любая способность мыслить улетучилась вместе с волосами. Равнодушие и полное безразличие ко всему.

Я голая. Перед чужими мужчинами. И что? И пусть. Смотреть там особо не на что. Да они и не смотрели. Никто не смотрел. Некоторые девочки вовсе стеснялись, краснели, плакали беззвучно, прижимая снятую одежду к груди. А толку?

Я могла пока только обреченно слышать команды. Велели встать и поднять руки вверх. Вставала. Идти? Шла. Повернуться? Поворачивалась.

Вдруг зашли сразу пятеро эсэсовцев, причем двое из офицерского состава, потребовав, чтоб все быстро поднялись и встали у стены в некоем подобии строя.

Встали. Высокий офицер брезгливо нас осмотрел и вдруг начал ржать. Именно ржать, не смеяться. Гомерически, взмахом, хлопая себя руками по бедрам. И я даже знаю, над чем именно он смеялся.

Видок у всей нашей команды был еще тот. Одежда же рассчитана на взрослых. Рукава свисали ниже колен, штанины волочились по полу. Воротники сползали, обнажая одно плечо чуть не по локоть... – Что это? – грозно спросил он затем, оборачиваясь к своему сопровождению. И злился уже не на нас.

– Как, по-вашему, они будут работать в таком виде? Мне плевать на их внешний вид! Но мне нужна работоспособная команда. Которая работает, а не поддергивает штаны всю смену. Переодеть! Пусть будет штатское, но чтоб они могли нормально двигаться.

Нас погнали назад. И еще раз заставили раздеться догола и аккуратно сложить куртки к курткам, штаны к штанам. Я громко переводила, чтоб ребятишек меньше били. И вновь погнали, поторапливая. В одном из помещений склада у входа была свалена груда одежды. Судя по всему, нашей же, еще не разобранный.

– Пять минут, – объявил один из сопровождающих. – Одеться. Винкели и номера не забываем. Кто не успеет – будет ходить голым.

Я опять переводила. Старалась объявлять громче. Потому что, это критично. Для всех. Надо ли говорить, с какой скоростью мы искали что-то детское? Хотя голубую батистовую сорочку я выхватила сразу, не взирая на размер, лишь бы прикрыться. Ситцевая блузка с длинным рукавом немного великовата, но без разницы. Теперь надо бы юбку. Одна, другая, третья... все большие и уродливые. Не потерять бы в спешке свои тряпочки-винкели.

В конце концов, отчаявшись, вытащила из кучи шерстяные мужские брюки. Видимо, с подростка или субтильного мужчины, потому что сели они на меня хорошо и застегнулись. И я из них не выпадала. Увидела сверху на куче большое коричневое, в мелкий цветочек, бумазейное платье с полной женщины. Интуитивно потянула его на себя, надела, почти утонув в нем, забила подол в брюки. Всё. Охранник уже торопил. Я уклонилась от занесенного надо мной хлыста и вдруг увидела в куче обшарпанный рукав и синюю заплатку на локте. Моя телогрейка. Еще раз ловко вывернулась из-под удара, дотянулась, дернула на себя. Точно! Моя. Ура! Стремительно надела, скрывая коричневое теплое убожество, и, еще не застегнув, заняла место в строю. Сунула в карман все выданные тряпочки.

Теперь мы хоть на людей похожи немного. Михась даже кепку серую нашел. А я платок – нет. Растяпа. Ну, оделись более-менее все же. Я, так можно сказать, идеально. Нам даже обуться дали. Я нашла себе хорошие кожаные ботиночки на шнуровке. Мой размер почти, чуть великоваты, но это на голую ногу. Отлично. Я уже на всю жизнь запомнила мой поход в чужих сапогах. И вдруг лежат ботики женские, резиновые, на вид большие. Сначала один увидела, потом и другой. Схватила, надела прямо на ботинки. Влезла. Хоть и кнопочка верхнего клапана не застегивается. Пусть!

Построились. Одеться прилично удалось не всем. Но это все равно лучше, чем было. Михась жмет ко мне сбоку, он не хочет больше теряться. Крайней слева девочке бросили на руки несколько драных до невозможности полосатых курток и что-то пробурчали. Я не расслышала.

Нас загнали пустую в комнату. Дали две катушки ниток, маленькие ножницы и несколько больших иголок. Велели все выданное быстро нашить. Оказывается, из курток нужно было вырезать квадрат с две ладони величиной и пришить на спину и на грудь слева. А уже на него – тот красный треугольник со странным названием – “винкель”, углом вниз. А полоску с номером – над ним. И на спину тоже. Хотя чего странного, он так и называется, если на немецком.

А еще нам принесли и поставили у порога целое ведро воды. И все наконец напились. Мы с девочками начали шить за себя и за мальчиков. Они раздевались и ждали, дрожа, пока мы закончим. Время шло. Нас никто не забирал. Очень хотелось в туалет.

Вроде всё пришили. Стали похожи на чучел. Я одну такую полосатую куртку внаглую конфисковала. Вырезала квадрат во всю спину, зашила на нём большую дыру, сложила уголком. Приспособила в качестве косынки, прикрыть лысую голову. Девочки поняли мою идею, но таких больших кусков ткани уже не было. Они, у кого не оказалось головных уборов, кроили себе косынки из маленьких кусков и потом сшивали. Свою иголку я тихонечко спрятала себе в ватник, в шов на рукаве. Не отдам. Пригодится. Решительно отмотала на скрученную тряпочку почти половину ниток с катушки и тоже спрятала. Мне нужнее.

Я уже думала, что скоро обдуюсь или в штаны, или на пол. Но нас выгнали из этого помещения и завели все-таки в туалет.

Это был ужас! Общая комната. Дырки в цементе: два ряда по стенам, два в середине. А мальчики? А девочки? А как? С ума сойти.

Надсмотрщица в дверях истошно орала:

– Шнель! Пять минут.

А мы всё стояли, не понимая.

И тогда я скомандовала (даже голос прорезался): – Парнишки к стенам, девочки в середину.

О! Знаете, где у человека находится душа? Реально, под мочевым пузырем. Сходил в туалет, и на душе легче.

Глава 3 Второй детский блок

Август 1944г.

Пруссия.

Концлагерь Зандхоф

Почти стемнело уже. Нас гнали вдоль рядов барачков. Три сектора. Слева бараки деревянные, много. Окошки узкие и где-то высоко под крышей. А крыша в два яруса. Сверху до окошек и ниже их. И всюду проволочная изгородь. Разная. Где в две линии с промежутком, где в одну. Справа, за двойной изгородью, тоже бараки. Несколько. И прямо два. Один за другим. Также разделенные меж собой колючей проволокой. В первый нас и загнали. Крупная надпись над дверью: второй детский блок. И начали разгонять налево-направо. Мы жались друг к другу плотнее: я, Михась, два парнишки и три девочки. Нашу кучу пихнули вправо, за шиворот перекинули к нам еще одного тощенького незнакомого мальчишку.

Нары в три яруса, разгороженные ячейками-клеточками и отовсюду из этих клеточек выглядывали любопытные детские головы. По три, по четыре из каждой клеточки. Посреди барака низкая железная печка и от нее длинный дымоход вдоль пола. Потом он поднимается вверх, а дальше по проходу широкая лавка идет до конца. Две надсмотрщицы криком и ударами разгоняли по местам новеньких, слева от входа. Нас пока не трогали. Старожилы этого барака или блока? поманили девочек к себе и шепча: – Быстрее, быстрее, Сейчас Марта придет, она вам даст жару. Мальчишки полезли куда-то на третий ярус. Нас окликнули почти с конца: – Эй, вы, русские что ли? Давайте сюда. Здесь два места еще есть.

Залезли на второй ярус. Там двое мальчишек. Один постарше, кареглазый и светлоголовый, лет пятнадцати, но под грязью не очень поймешь. Второй, темненький, значительно младше, хорошо если одиннадцать есть, тощий-тощий, бледный, чуть не насквозь просвечивающий. Матраса нет, голые доски. Хорошо хоть струганые. И два драных вонючих одеяла непонятного цвета. Одно перекинули нам. На двоих с Михасем, значит. Лежать можно почти вплотную, если ноги вытянуть. Согнуть, если всем сразу, не очень получится.

Младший парнишка сразу поинтересовался:

– Хлеб есть?

– Откуда?

– А чего другого поесть есть?

– Ничего нет.

– Ты же только поел! – осадил его старший и представил младшего. – Это Казик, Казимир то есть. Я Витёк.

Мы представились в ответ.

(Ужин уже был, получается. Значит, нам ничего не светит. Жаль)

Витёк стал наставлять нас: – По именам можно только тихо, меж собой, чтоб ауфзеерка не слышала. Она лютая у нас. Обе, то есть. Хотя Бригитта немного лучше. Она, если открыто не косячишь, внимания не обращает. Смотрит как на пустое место и все. Но если чего явно не так, тогда только держись! В том крыле ауфзеерки добрее.

– Кто чтоб не слышал? – не понял Михась.

Пояснила ему тихонечко.

– Фрау ауфзеерин, если по-немецки. Ауф. – поделила слово длинной паузой. – Зеерка. То есть: надсмотрщица. Понял?

– Понял, – кивнул Михась.

Он до сих пор не отошел от шока сегодняшнего дня. Он моложе меня намного, ему страшнее. Хотя куда страшнее-то?

– Номер надо выучить наизусть. – продолжал наставлять Витёк. – И сразу откликаться на переключке, а то бить будут.

– Это как? – теперь не поняла я, и, показывая на свой, еще относительно белый прямоугольничек, прочитала номер как есть – девяносто шесть тысяч...

– Нет. Делить надо. Первые две цифры отдельно.

– девяносто шесть и триста пятьдесят три? Или три, пять, три?

– По отдельности все. – и удивленно посмотрел на меня.

– Ты чего? Немецкий знаешь?

– Знаю. – Ух, здорово как! Меньше доставаться будет за то, что не сразу поняли. Ты нашим в бригаде переводить будешь? согласишься, чтоб для всех?

– Буду. Жалко что ли. – отозвалась я, думая, куда бы деть миску. Надоело ее, бесполезную, в руках держать. – Назад давай. Вдоль стенки в щель заткни, где наши, увидишь.

За тесовой обшивкой стены кто-то громко заскребся. Я насторожилась.

– Это крыса. Не бойся. Она здесь всегда живет. Если будет по тебе бежать или за пальцы кусать, сразу бей колодкой.

– Чем?

– Колодкой. – Витёк задрал грязную ногу. Деревянная подошва, истрепанный брезентовый верх. Они по-немецки не так называются, но все равно колодки и есть. – торчащие голые, битые в болячки пальцы. – Вам повезло. Обувь нормальную дали. Это редко так. Берегите ее.

– А крысы сейчас бесполезные, – вставил свое слово Казик. – Их жарить негде.

– Жарить? – меня начало подташнивать. Мышиный супчик Шамана вспомнила.

– Ну да. – поясняет Витёк. – Когда печку в блоке топить начинают. Можно крысу в глину закатать, и в печку на час. Только глину надо с карьера нести. Заранее запастись. Там ее мало. Но в песке встречается. Искать надо.

– А мне одну ножку дадите? – с надеждой подал тонкий голос Казик. И закашлялся. Нехорошо так, влажно, в заход. Витёк осторожно гладил мальчишку по вздрагивающей спине. – Его Марта избил, а потом заставила ночь под дождем стоять. Вот он и кашляет. Он в номере в цифрах сбился, когда она его спросила. Михась громко икнул, видимо представив, и жалобно спросил:

– А мой номер? Он какой?

– В школе на немецком спал что ли? – я продиктовала ему: нойн, зекс, зекс, фир, цвай.

– Повторила еще раз, медленнее. – Учи.

Михась, сбиваясь, повторял. В это время в проходе перед нами появилась та самая, тощая белёсая эсэсовка, что вела нас к блоку.

– Вспомни говно, вот и оно, – прошипел чуть слышно Витёк.

– Что ти есть сказал?

И ее оловянные, чуть навывкате, глаза на лошадином лице налились неистойвой злобой. Видимо интонацию почувствовала. Слова вряд ли разобрать успела.

– Вниз! Все! Быстро!

Встали мы перед ней все четверо.

– Что ти есть сказал? – угрожая, повторила она еще раз, и Витёк сжался, становясь вроде как даже меньше ростом. А так, он даже меня выше, жилистый, крепкий подросток.

Я тихонько, искоса, рассматривала стоящую перед нами, свою самую большую проблему на ближайшее время. Понимая, что времени уже не осталось, сейчас этому Витьке ни за что попадет, сделала полшага вперед. Встала смиренно. И, четкой отдельной скороговоркой на немецком, выпалила:

– Фрау ауфзеерин, извините. Этот мальчик объяснял нам правила поведения. Мы сегодня только поступили. Он сказал, что нужно быть очень внимательным, – чуть замешкалась, подбирая нейтральное выражение – ... в местах общественного пользования. Чтобы... не вля-

паться... в продукты жизнедеятельности...(Во как вывезла!) Он так и сказал: встанешь в говно, вот и оно. Принесешь на обуви в помещение. Потом будет плохо пахнуть.

Надсмотрщица впала в легкий ступор. Еще раз посмотрела на мой винкель с буквами SU.

– Фольксдойче?

– Нет, фрау ауфзеерин, руссиш.

– Откуда знаешь немецкий.

– Мой отец работал учителем, – нагло врала и не краснела. – Он учил. (про еврейку Фирочку лучше здесь не упоминать)

– Гут, – по ней видно – радовалась, что ей самой ломать язык не придется. – Зер гут!

Будешь переводить.

– Гут.

Я согласилась, потому что хотелось, чтоб она уже ушла и больше не появлялась.

– Номер?

Отчеканила.

«Да когда она уже отвяжется!»

А она ткнула в меня пальцем (кривоватым, кстати) и выдала строго:

–Ты. Бригадир.Третья бригада. Завтра принять.

И быстро повернулась к нам спиной, найдя себе цель на другой стороне. Мы облегченно выдохнули и спрятались на своем месте.

– Спасибо тебе, – поблагодарил Витёк. – Лихо ты по-ихнему тарабанила. Чего хоть ты ей такого сказала, что она отстала? Я примерно повторила.

– Ничего себе! Сразу? –он почесал в затылке и согласился: – Ну, да. Ей кто-то нужен был. Кристофа же она застрелила сегодня ...

– Я так полагаю, счастьеце мне привалило по самое горло?

– Ага – согласился Витёк. – Нахлабаешься.

Я спросила:

– Здесь у кого есть нож или ножницы? – Есть у Вацека.

Витек наполовину перевесился в соседнюю ячейку и через некоторое время подал мне обломок пилки по металлу с ладонь длиной. С одной стороны пилка была заточена.

– Вот.

– Ага, – поблагодарила я и стала раздеваться. Сняла с себя то самое, огромное теплое платье из-за которого я казалась толстой. Распорол его на перед и зад. Разорвала по длине пополам. Рукава отпорол отдельно. Подала две тряпки Витьке.

– Вот. Держи. Портянки нормальные выйдут. Мотать умеешь или учить?

– Умею. – обрадовался он. И спохватился: я что тебе буду за портянки должен? Пайку? Больше?

– Дурак! – откровенно припечатала я. – Веревошкой из вырезанных швов, подвяжешь. Всё теплее будет.

Остальное, что от платья осталось, прибрала. Рассовала пока по карманам. Спросила:

– Здесь как? Оставишь если, украдут?

– Нет. Сейчас уже не воруют. Пся крев всем воришкам морды набил. И они успокоились.

– Кто набил? – не поняла я.

Свет мигнул.

– Я завтра тебе его покажу. Сейчас свет погасят. Отбой. – напутствовал Витёк. – Спите. Завтра рано вставать.

Был у нас еще один мелкий начальник, тот самый, которого показать обещали. Высокий, вечно хмурый парнишка-поляк с белой повязкой на рукаве. Просто повязка, без надписи, условно белого, а на самом деле уже давно застиранно-серого цвета. Он отвечал за нашу сто-

рону блока и помогал капо. Его заставляли нас строить и пересчитывать, следить, чтоб очередь держали при раздаче пищи и в сортире не задерживались. И он тоже пытался при этом ругаться. За глаза его так и звали, по его самому частому ругательству: – Вон Пся крев пошел ... Спроси, Пся крев наверняка знает.

Он это знал, как его честят, и обижался. Но не сильно. А мы обреченно понимали: пусть лучше будет Пся крев, чем капо или ауфзеерки. Он хоть не бил никого. Зато ему от капо доставалось периодически, что не уследил. Собачья должность. Хуже бригадирской, потому что следить сразу за четырьмя бригадами приходилось.

Михась, перекошено и брезгливо, смотрел в стоящую перед ним миску с мутной серо-бурой жижей.

– Чего случилось? – я посмотрела на это горюшко.

– Аня, я эту гадость есть не буду.

– Будешь. Куда ты денешься.

– Не буду! У нас дома свинья лучше ела. – и потянулся к миске. – Я сейчас выплесну все. – Куда? На пол? Так тебя же его мыть и заставят.

– Но это же несъедобно! Аня! Ты что? Не понимаешь? Вон, ты и сама не ешь.

– Буду. Другого выхода нет. И еды другой здесь нет. И не будет. По крайней мере, это не отравлено. Видишь, все едят. Не будешь есть – умрешь с голоду или тебя пристрелят, если не сможешь работать.

Михась смотрел на меня как на великую злодейку. И его губы дрожали.

– Что я скажу твоей матери? Что ее сын сам решил умереть с голоду? Не можешь нюхать, заткни нос и давай уже большими глотками.

– Ага! Так лучше, если тебе противно, – отозвался Казик и спросил: – А ты точно не будешь есть? Тогда отдай мне. Я еще хочу.

– Он сам сейчас съест. – встала я на защиту Михаськиной порции.

– Тогда пусть поторопится. Если остынет, будет еще противней. – с видом знатока пояснил мальчишка с завистью глядя к Михасю в миску.

Интересно, я уговаривала строптивного мальчишку или саму себя? Гадость еще та, конечно. Но куда деваться. Чем больше глоток, тем быстрее кончится.

Полупрозрачные с коричневым оттенком, ошметки, реденько плавающие в миске, про-скальзывали в горло как сопли. Да еще и температуры нейтральной. Ни горячее, ни холодное. Бе-е. Михась бы не увидел мою рожу. Интересно, блевану или нет?

Михась, косясь на меня, морщась и вздыхая, вливал в себя «пищу». На дне своей миски я с удивлением обнаружила серые дробинки. Перловка. Из интереса сосчитала. Получилось пятнадцать.

– Пятнадцать, – повторила я вслух для страдающего мальчишки. – А у тебя сколько? У него было четырнадцать, но Михась так убеждающе уверял, что микроскопический комочек прилипший у самого верха, это тоже крупина, что я согласилась на ничью. И выгребла перловку пальцем.

– А миски где моют?

– Вон там, у входа ведро стоит. В нем и моют.

– Все? – поразила я, прикинув, что только на нашей половине блока народу человек под триста, не меньше.

– Все – отозвался Казик. – А как по-другому?

– Не-е! – решила я.

Пусть моя посуда сегодня останется грязной, но макать ее в общее ведро я не собираюсь. И Михасю не дала. Я потом что-нибудь придумаю.

Вскоре я поняла почему станция называлась Зандхоф, то есть песчаный дворик. Работать нас пригнали на огромный песчаный карьер. Все просто и тяжело: лопата, тачка, песок. Бесконечный песок. Тяжелый.

Михасю Витек сразу сунул в руки лопату

– Вставай с Казиком. Он тебе покажет, как лучше.

Мне досталась тачка, расхлябанная и тяжелая. И уже через пару рейсов до большой кучи на краю карьера я пришла к выводу, что сдохну здесь уже к вечеру.

Не сдохла. Но до блока еле дотащилась. Вот он какой, здешний песок: тяжелый, пропитанный потом и кровью. Когда-то я читала про смертельные зыбучие пески, людей в себя засасывающие. Вот и здешний песок хоть и не ставший внешне трясинной, но стремительно отбирающий силы, здоровье и жизни, будто высасывающий их. Долго я здесь не протяну. Кто бы знал, как мне было плохо! И не расскажешь никому, не пожалуешься. Некому. Тем, кто младше и слабее? Ну, это уже совсем последний стыд потерять! Поэтому я молчала. Обматывала обрывками тряпки кровавые мозоли на руках и обреченно прикидывала на сколько меня хватит.

Глава 4 Витёк и Казик.

Сентябрь 1944г.
Пруссия,
Концлагерь Зандхоф

Первые две недели Витёк ругал меня даже чаще, чем капо или надзирательницы. Чуть только я делала что-то не так, нарушала правила или еще как опасно косячила, сразу раздавалось полупшепотом: – Дур-ра! Ид-диот-тка плюш-шевая!

Витёк почти всегда так меня ругал, экспрессивно сдваивая согласные. В нормальной речи он не заикался, при ругани – всегда. Часто вслед за этим следовал и тычок. Не больной, но чтоб почувствовала. Почему я – идиотка, Витек пояснял при возможности сразу, почему именно плюшевая – не знаю до сих пор.

Как-то, после того как мне, мимоходом, но больно, перепало по голове от Марты, Витек после смены вывел меня из блока, сунул в руки лопату, сам взял ведро со щебенкой. И мы, изображая, что подсыпаем неровности на дорожке вдоль блока, пошли за угол. Там Витек немедленно приказал мне:

– Бей!

Я не поняла. Встала, хлопая глазами

. – Ид-диоттка! Попробуй изобразить удар. Мне по голове. Ты – капо, а я накосячил. Бей!

Я перехватила черенок по-другому и медленно обозначила, что собираюсь заехать ему по уху. Почему по уху? Наверное потому, что мое правое было сейчас красным и распухшим. Витёк развернулся стремительно, отклоняя голову и подставляя под удар плечо.

– Поняла? Давай еще раз, – мы повторили. – А еще вот так можно. – Он немедленно уклонился, припал на одно колено и опять подставил под удар плечи и спину. – Дур-ра! Если ты нар-рываешься, то хоть д-дел-лай это т-так, чтоб тебя не изувеч-чили. Баш-шку туп-пую не п-подстав-вляй. Понял-ла?

Он, ругаясь, стоял передо мной на одном колене, а я слушала, смотря на него сверху вниз. Облака выпустили солнечный луч, скользнувший по мальчишеской голове и здесь, на ярком свете, я вдруг неожиданно разглядела, что короткий ежик на мальчишеской голове явно отсвечивал полупрозрачным серебром. Черт! А я ведь думала, что он просто блондин. А он, в пятнадцать лет полностью седой. Я трудно сглотнула, воспринимая этот факт. А Витёк сказал уже нормальным голосом.

– Мы хоть и ровесники, но я старше тебя. На целый год лагеря старше. Так что слушайся.

Я не стала ему говорить, кто старше на самом деле. Меньше знают, крепче спят. Мы повторили еще раза три, когда от ударов уклонялась уже я, и пошли в блок, чтоб не опоздать к ужину.

«Веселый» выдался денек! Дикая правила. Выматывающая все силы работа на песчаном карьере. А потом мы, всё никак не отходящие от шока из-за происходящего вокруг, бессильно лежали у себя на ярусе и разговаривали. Вернее, Витёк рассказывал, а мы слушали, иногда уточняя. Он лежал на спине, закрыв локтем глаза и говорил. Глухо, через силу. Но он нас вводил в этот жуткий мирок, чтоб хоть не вслепую. Чтоб хоть что-то понимать и быть готовыми.

– Витёк, – спросила я у старожилы. – А младших детей куда девают? С нами много еще было.

– Смотря какие дети, – вздохнул он. – Если совсем маленькие, лет до пяти-семи, тогда их не берут никуда. В этом лагере они никому не нужны. Их прямой наводкой...

Он не договорил фразу, но мы поняли.

– Только, разве если ребятишки волосенками светленькие, и чтоб глаза голубые или серые. Таких специально отбирают. Их даже не метят. На руке, имею ввиду.

При упоминании о лагерном номере мои пальцы сами потянулись к левой руке. Я задрала рукав и посмотрела. Место татуировки вспухло багровой подушкой. Руку безбожно ломило. Из проколов до сих пор сочилась сукровица. Витек заметил мое движение.

– Ты, это, лучше номер не трогай. Не расчесывай, не хватай грязными руками. А то зараза какая присунется. Тогда, если гнойником цифры попортит, по новой номер перебивать будут. А оно тебе надо? Или совсем помереть можно. В том крыле девчонка померла так одна. Расчесала она себе номер. Руку у нее сначала разнесло, а потом кожа чернеть начала и прямо лопалась. За три дня умерла. Мы потом утром труп видели. Страшно. – И без перехода продолжил начатое. – Таким детям бирку на шею вешают. А потом быстро их увозят из лагеря. За день-два, чтоб умирать не начали. Говорят, что специально их переучивают. Языку немецкому и всяко-прочее. Имена меняют. И в семьи немецкие, где детей нет, отдают. Чтоб, значит, когда они вырастут, себя немцами считали. А родной язык и имя свое забыли совсем.

– Я видела из нашего эшелона таких, с бирками на шее. И постарше немного которых, тех тоже отдельно стогнали. Но тем, вроде бы, номер на руке кололи.

– А, те, вторые, это для первого детского ребятишки. Который блок дальше, за нашим, стоит. Там девочки от семи и до четырнадцати лет, а мальчишки до двенадцати.

– А у нас же и здесь есть младшие девочки? До четырнадцати точно есть. – Это отбраковка. Что по здоровью или каким еще параметрам туда не прошли. Ты заметила, их, из первого детского, даже на апель не выводят. На месте и считают. Младшие там ведь и номер свой не выучат. Блок там снаружи стандартный, а на самом деле жилая половина там одна. Та, что к нам ближе. И вход там с торца. А во второй половине что-то вроде ревира, лечебницы то есть. Только наоборот.

– Наоборот это как? – спросил Михась.

– Ну, как как... глупый что ли? В ревире лечат. А там кровь выкачивают. В городе госпиталь немецкий есть. Так, для тех немцев раненых... Для них, гадов, тот первый детский и нужен. Мы же сюда всей семьей попали. Наша деревня Березичи называлась. В августе фашисты приехали. Маму, меня и сестренку двух, младших, Тане тогда только восемь исполнилось, а Нине десять. Младшего братишку, Петеньку, они на месте убили. Ему годик только и был. И бабушку, и тетю Василису... А нас в лагерь привезли. Маму – в женское отделение, сестренку – в первый детский, меня – во второй – сюда. А через три дня и за мной оттуда пришли. Я обрадовался сначала, я хотел к сестренкам, чтоб все вместе. Я не скрывал, что рад этому выбору. У нас, у всей семьи кровь одинаковая и редкая, первая группа, но какая-то не такая как обычно, с минусом вроде, или что-то вроде этого. Они меня привели тогда в тот рефир, там комнаты сделаны разные. К столу посадили, и палец прокололи. Крови нацедили в стеклянную палочку и на стеклышке в несколько мест размазали и чего-то сверху накапали и размешали. Я подглядывал. А потом тот доктор, что капал, радостный такой, с этим стеклом вышел, а ко мне подскочила женщина, санитарка, наверное. И она мне на ухо сказала, по-русски, между прочим: идиот маленький, тебе жить надоело? Немедленно, сейчас же, доктору скажи, что в табор цыганский часто ездил и с разными цыганками... – Витек мялся, подбирая слова – ну... это самое... короче ... спал. Вот. Я и сказал. Меня еще переспросили много ли раз ... это... того...? Я сказал, что много и с разными. Тогда они заругались по-всякому, оплеуху мне вlepили и выгнали.

Но я почти каждую ночь туда бегал, к сестренкам. Хлеб из своей пайки половину носил. Их там, конечно значительно лучше кормят. Потому что иначе никак. Им даже чай сладкий давали там. Но они все равно всегда голодные были. А потом я на угол ходил к женскому отделению, и маме рассказывал, что все хорошо. Что я девочек видел. И они хорошо себя чувствуют. Про кровь не говорил. Это же мама! Ей больно будет, что помочь не в силах. Вот и

молчал. И врал. А сестренки совсем прозрачные стали, Нина месяц продержалась. А потом у нее один раз всю кровь полностью скачали. Таня рассказывала. Она говорила, что дети там уже научились различать, что будет. И этот стакан воды, который выпить велют, когда приходят эти, в белых халатах, выбирают кого нужно и уводят. Если положат на кровать и из руки брать будут, тогда хорошо. Тогда просто лежишь, долго лежишь, пока перед глазами цветные круги не пойдут. Тогда потом принесут на место. И сладкой воды потом дадут. Вкусной-вкусной.

А если по-другому, если бинтом, таким широким, грудь затягивают туго-туго, на кровать доску кладут и привязывают. То есть, привязывают всегда, но тут по-другому: за кисти рук и за щиколотки и еще лентой поперек туловища. И доску эту приподнимают сильно. А иголку тогда в ногу втыкают. Тогда назад уже не приносят. Ребятишки, они же подсматривали иногда. А потом друг другу шепотом рассказывали.

Они боятся там. Они все боятся. Только бежать оттуда некуда. И они ждут. Понимаешь, они ждут уже за кем придут в следующий раз.

И еще рассказывают, что если кого забирают насовсем, тогда он отсюда уходит. И что, когда кровь берут, надо просто ждать и следить. Все просто. Нужно заранее знать, что бывает: или просто пятна цветные перед глазами, а бывает радуга. И вот, если, когда настоящая радуга, то это хорошо. Потому что после нее, просто, раз! открываешь глаза, смотришь, а вокруг тебя уже настоящее лето и сад. И яблони. И ветки у них до земли, а на них яблоки сладкие и красные такие. Много-много. И нет капо и этих, в белых халатах.

А потом, мне другая девочка уже рассказала. У них говорили, что в тот городской госпиталь танкистов привезли, сильно обожженных. И там один офицер был. Для него кровь нужна была нашей группы, много, и кожа для пересадки. И они Таню забрали. И больше не привезли назад. – Витек всхлипнул. – Я надеюсь, что они хоть сначала убили ее перед этим...

Я матери не говорил. Она и так переживала сильно, наверное, чувствовала. Но я ей всё равно говорил, что сестренки здоровы. Придумывал, что и как мне они буквально вчера рассказали. А потом однажды мама просто не пришла к проволоке. Я еще два раза приходил. А она не пришла больше. Мне бы надо было печалиться. А я обрадовался. Что врать ей больше не нужно. Что не нужно описывать живыми и здоровыми сестренкам... Я с той поры в первый детский не хожу больше. Не могу. А наши ходят кое-кто. И к своим родным и просто так. Игрушки делают совсем младшим, которые пересылку ждут, одежду штопают. Сама узнавай, что и как. Тут я тебе не помощник.

Витек долго рассказывал. Ровно так, безэмоционально. А я ничем не могла ему помочь. Я только положила ему свою руку поверх его кисти, медленным движением проводя до кончиков пальцев, приподнимала и снова гладила. Слова тут были бы лишними. Да и не подобрала бы я таких слов.

Именно этот первый месяц привыкания был полон отчаянием через край. Это даже у меня. Про Михася и говорить нечего. Мальчишка раскис окончательно. В двенадцать, оно сложнее. Там возраст такой, что все по максимуму, и жизнь черно-белая. Тогда нам подсказали, что можно ускользать после работы «в угол». Туда, где детская территория углом соприкасается со взрослой женской. Для того, чтоб капо этих походов не видели, требовалось заплатить. Цена – одна дневная пайка хлеба. Вся полностью. Мы с Михасем, обычно одну делили пополам, вторую отдавали капо. Сначала и меня пытались заставить платить, но мне удалось договориться, что я только сопровождаю, дабы эксцессов никаких не случилось. А то бывало, что и за проволоку под током руками хватались в отчаянии. Как бригадиру мне давали снисхождение. Сначала мы записку отправили, с матерью одной из девочек, потому что какой номер у тетки Марыси мы совсем не знали. Пока нам ее нашли...

Стоять и смотреть на эти свиданки мне было муторно, тяжело морально. Но я терпеливо стояла чуть в стороне и ждала. И уверяла тетку Марысю, что я старательно приглядываю за ее

сыном и что у него все хорошо. Она приносила Михасю гостинцы: пару-тройку сырых картошин, редко морковку или луковицу. Где только брала? И мы делили это богатство на четверых. У нас достать овощей было нереально. Вернее реально, но недоступно. Вторая половина блока работала в отличие от нас, карьерных, в полях за лагерем. На уборке урожая. Там можно было и днем украдкой поесть и с собой принести на обмен. Нам менять было не на что. Поэтому мы только облизывались на морковку или брюквинку. Михась и его мать знали про меня, но не проговорились. Хотя...здесь никто про мое прошлое и не спрашивал. Но я чувствовала за собой этот долг жизни.

А потом случилось то, что повернуло мое пребывание в лагере другой стороной.

Как-то ночью Витек разбудил меня и сказал:

– Слезай.

На удивление, спала я крепко. Хоть и на голых досках. Голову преклоню и, как в омут до утра. Никакие шумы, кашель и стоны я не слышала вообще. Если только за плечо трясти. Вот Витек меня и тряс. Я знала, что он просто так, посреди ночи не позовет и тихонечко, чтоб не разбудить Михася, спустилась вниз, последовав за товарищем. Он отошел немного, оглянулся, прикидывая расстояние до наших мест, не услышат ли, и зашептал: – Ань, вернись наверх, посиди сейчас с Казиком. Ты умеешь уговаривать. Я знаю. У тебя хорошо получается. А ему сейчас твой разговор очень нужен. А я пойду пришибу крысу, какая покрупнее. И приду. Я быстро постараюсь.

Слезая, я посмотрела на Казика, и он мне совсем не понравился. Поэтому я и сказала весьма обеспокоенно:

– Казик сегодня совсем плохо дышит, беспокоится.

– Я не знаю, как он завтра вообще на апель встанет, не говоря о работе.

– И что? – спросила я обеспокоенно – совсем ничего нельзя сделать?

– Можно. Сейчас и будем делать. Ты – говорить с ним и успокаивать. А я – крысу ему добывать.

И я вернулась на место.

Казик сегодня кашлял очень много. С вечера еще, почти не переставая. Он лежал весь мокрый от пота и метался. Мальчишке было страшно, одышка нарастала, и в глазах тревога. Я цыкнула на Михася, чтоб он убрался в глубину, к стене и лег поперек. И спал уже, в конце концов! Ибо нефиг тут. Я приподняла Казика на себя, спиной, чтоб ему легче дышалось. Я бережно обтирала ему пот с лица, гладила, успокаивала и несла всякую ересь о том, что в болезнях бывает перелом. Что ему сейчас плохо-плохо, а к утру уже все пройдет и будет хорошо. Только надо подождать до утра. И что не надо бояться. Так бывает. Оно все сейчас немного тяжело, а потом пройдет.

А потом Витек принес крысу. Большую, жирную такую. Теплую еще. Подал Казика в руку. И сказал:

– Вот. Смотри. Я принес для тебя. Специально жирную ловил.

И Казик обрадовался. Он реально обрадовался. Он положил руку на толстого, теплого еще зверька, с полкило, не меньше. И не отпускал. Теперь я с искренним восторгом вещала, что Витек уже договорился в большом лагере с кочегаркой. Что мы обвалием эту крысу глиной и запечем в углях. В кочегарке, оно жарче, чем в нашей печке. И всё быстро пропечется и хорошо. А если Михась еще раз принесет с Большого лагеря от матери луковицу, то мы ее внутрь порежем. И тогда мы принесем ему, Казика, этот горячий глиняный ком. И его нужно будет только разбить осторожно камнем... а потом...Такую околесицу, вкусную, до слюней в собственном рту, я бы второй раз не придумала, не сумела бы. Я даже сама в это поверила, честно. И Казик поверил.

А потом я вдруг начала ему пересказывать, что Витек мне тогда рассказывал про радугу и яблоки и все прочее. А мне даже плакать нельзя было, потому что голос тогда дрогнет и заметно

будет. А Михась всхлипнул. Я услышала и немедленно пнула его. Больно пнула, чтоб заткнулся и не отвлекал, не пугал Казика. Тому и без этого страшно, мальчишка уже хрипел, лицо синее, вены на шее вздулись шнурами. И пена на выдохе изо рта и носа. Мелкая, розоватая... А потом, когда... Я больше не могла смотреть. Совсем. Пусть Витёк меня потом ругает. Я не могу! И я откинула голову назад, на переборку оперлась затылком и зажмурилась.

– Ань, – позвал меня Витёк через некоторое время тускло и ровно, – Ань, спасибо. Всё. Можешь уже открывать глаза.

Казик лежал ровно и неподвижно. Его спина всё еще грела мои колени. А под рукой у мальчишки была крыса. Несостоявшийся ужин.

– Светает, – так же ровно сказал Витёк. – Помоги мне снять Казика, ладно?

Михась, сжавшись в комок, тихо поскуливал в глубине ячейки. Витёк снял с Казика теплую безрукавку и подал Михасю.

– Возьми. Ему теперь уже ни к чему, а дело к зиме. Тебе нужнее.

Внизу он попытался взять Казика на руки и нести один. Я не дала.

– Надорвешься. Не надо. Я помогу.

И мы понесли его вдвоем. Витёк взял под мышки, а я под колени. Слева от входа уже было два вечерних трупа. Казика мы аккуратно положили сверху. И я осторожно поправила ему тонкую руку, чтоб не свисала сломанной веткою. Их заберут скоро. Специальная команда по сбору трупов. Возможно, еще кого вынесут к тому времени.

Витёк горько плакал у меня на плече. Впервые с того времени, как я его узнала. Перед входом в блок, примерно за час до побудки, пока не появилось никого посторонних. Здесь плакать было можно.

Я обняла товарища по несчастью и тоже мочила слезами его куртку. Мы долго так стояли. Потом сели на ступеньку входа, рядышком, и долго просто сидели и смотрели себе под ноги. А потом зазвучала сирена подъема.

Наверное, тогда и переломилось мое внутреннее состояние. Тот первоначальный испуг, невосприятие и обреченность как-то разом ушли, словно отключились. Я стала злой к врагам и отчаянной. И мне стало все по барабану. Фиг им всем! Я еще жива. Витёк говорил, что у меня даже походка сменилась и сутулиться я перестала.

Глава 5 Комендантская метка

Сентябрь 1944г.

Пруссия.

Концлагерь Зандхоф

В начале сентября было жарко. Случается, выпадают изредка такие солнечные деньки. Сегодня наша бригада облепила огромную кучу щебня. Мы его перебирали, руками. До идеального соответствия стандартам, непосредственно на конкретные фракции, чтоб камешек к камешку. Крупный к крупным, мелкий к мелким. Потому что, потом проверять будут. Не особо торопились. Ковырялись, создавая вид старательной работы. Даже Марта сегодня ни на кого не орала, не придиралась. Настроение, видимо, хорошее. Что редко очень с ней бывало. К чему бы это? Она просто сидела в тенёчке на перевёрнутом ведре. Отдыхала, чтобы ей сдохнуть! О чём-то болтала с охранником. На его лице блуждала благодушная улыбка. Руки с автомата свесил, внимая «даме». Пусть подольше поболтают, пока тишина. Нет же, накаркала я, видимо. Марта поднялась и заголосила как всегда визгливо: – Ахтунг! Внимание, то есть. Все наши поднялись, поворачиваясь к ней, и смотря выжидательно. Она плетью показала конкретно на меня. – Ду! – Ду, ду... – ворчала я про себя. – Иду. Не по номеру вызвала. Зрительная память у неё, дай бог каждому. Она всех помнила. Я подошла. Морду лица вниз. Не смотреть! Не смотреть, чтоб ты не видела, лярва, как я тебя, тварину, ненавижу! Чтоб тебя, черти в аду, семнадцать раз на одной сковородке перевернули. Полюбила она меня, видите ли! Потому что переводить не надо. Знает, что я и так понимаю. Марта пнула мне под ноги то ведро, на котором сидела. Приказала немедленно ей воды принести. Мы и отправились, с охранником, с которым она болтала, за водой. Он тяжело топал сапогами в двух шагах сзади. Пыхтел и кхекал, гад. Набрала. Понесла. Ведро тяжеленное. Раньше вроде нормально носила! С каждым шагом тяжелее и тяжелее это проклятое ведро. С голодухи, наверное. А до вечера ... Солнце ещё высоко, до вечера далеко. Прямо как в сказке получается. Ага, что там ещё было дальше-то? «Солнце высоко. Колодец, далеко. Жар донимает. Пот выступает. Точно! Один в один. Сказка! Чем дальше, тем страшнее». Вот и тащилась я с этим ведром. А навстречу, по параллельной тропке вдоль карьера, что метров на десять по склону выше нашей – потный охранник-проводник с собакой. Пси́на не лаяла, боками хлопала, вывалив язык между желтоватых клыков. Остановил нас этот охранник. – Чего? – поразила я его приказу. Он потребовал, чтобы я сейчас же напоила его собаку из этого ведра. Да с меня наша ауфзеерша живьем шкуру спустит за это! Ей же надо воды донести. Посмотрела я на него нагло:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.